# Гай Калигула

Гай Цезарь родился накануне сентябрьских календ в консульство своего отца и Гая Фонтея Капитона. Где он родил­ся, неясно, так как свидетельства о том разноречивы. Гней Лентул Гетулик пишет, будто он родился в Тибуре. Плиний Секунд утверждает, что в земле треверов, в поселке Амбитарвий, что выше Конфлуэнт: при этом он ссылается на то, что там показывают жертвенник с надписью: “За разрешение Агриппины”. Стишки, ходившие вскоре после его прихода к власти, указывают, что он появился на свет в зимних лагерях:

*В лагере был он рожден, под отцовским оружием вырос: Это ль не знак, что ему высшая власть суждена?*

Я же отыскал в ведомостях, что он родился в Анции.

Прозвищем “Калигула” (“Сапожок”) он обязан лагер­ной шутке, потому что подрастал он среди воинов, в одежде рядового солдата. А какую привязанность и любовь войска’ снискало ему подобное воспитание, это лучше всего стало видно, когда он одним своим видом несомненно успокоил солдат, возмутившихся после смерти Августа и уже готовых на всякое безумие. В самом деле, они только тогда отступились, когда заметили, что от опасности мятежа его отправляют прочь, под защиту ближайшего города: тут лишь они, потря­сенные раскаянием, схватив и удержав повозку, стали умолять не наказывать их такой немилостью.

Вместе с отцом совершил он и поездку в Сирию. Во­ротившись оттуда, жил он сначала у матери, потом, после ее ссылки — у Ливии Августы, своей прабабки; когда она умерла, он, еще отроком, произнес над нею похвальную речь с рост­ральной трибуны. Затем он перешел жить к своей бабке Ан­тонии. К девятнадцати годам он был вызван Тиберием на Капри: тогда он в один и тот же день надел тогу совершен­нолетнего и впервые сбрил бороду, но без всяких торжеств, какими сопровождалось совершеннолетие его братьев.  На Капри многие хитростью или силой пытались выманить у него выражения недовольства, но он ни разу не поддался искушению: казалось, он вовсе забыл о судьбе своих ближних, словно с ними ничего и не случилось. А все, что приходилось терпеть ему самому, он сносил с таким невероятным притворством, что по справедливости о нем было сказано: “не было на свете лучшего раба и худшего государя”.

Однако уже тогда не мог он обуздать свою природную свирепость и порочность. Он с жадным любопытством присут­ствовал при пытках и казнях истязаемых, по ночам в наклад­ных волосах и длинном платье бродил по кабакам и притонам, с великим удовольствием плясал и пел на сцене. Тиберий это охотно допускал, надеясь этим укротить его лютый нрав. Про­ницательный старик видел его насквозь и не раз предсказывал, что Гай живет на погибель и себе, и всем и что в нем он вскар­мливает ехидну для римского народа и Фаэтона для всего земного круга.

Консулом он был четыре раза: в первый раз с июльских календ в течение двух месяцев, во второй раз с январских ка­ленд в течение тридцати дней, в третий раз — до январских ид, в четвертый раз — до седьмого дня перед январскими идами. Из этих консульств два последних следовали одно за другим. В третье консульство он вступил в Лугдуне один, но не из надменности и пренебрежения к обычаям, как думают не­которые, а только потому, что в своей отлучке он не мог знать, что его товарищ по должности умер перед самым новым годом.  Всенародные раздачи он устраивал дважды, по триста сестерциев каждому. Столько же устроил он и роскошных уго­щений для сенаторов и всадников и даже для их жен и детей. При втором угощении он раздавал вдобавок мужчинам наряд­ные тоги, а женщинам и детям красные пурпурные повязки. А чтобы и впредь умножить народное веселье, он прибавил к празднику Сатурналий лишний день, назвав его Ювеналиями.

Гладиаторские битвы он устраивал не раз, иногда в амфитеатре Тавра, иногда в септе; между поединками он выводил отряды кулачных бойцов из Африки и Кампании, цвет обеих областей. Зрелищами он не всегда распоряжался сам, а иногда уступал эту честь своим друзьям или должност­ным лицам.  Театральные представления он давал постоян­но, разного рода и в разных местах, иной раз даже ночью, зажигая факелы по всему городу. Разбрасывал он и всяческие по­дарки, раздавал и корзины с закусками для каждого. Одному римскому всаднику, который на таком угощении сидел напротив него и ел с особенной охотой и вкусом, он послал и свою соб­ственную долю, а одному сенатору при подобном же случае — указ о назначении претором вне очереди.  Устраивал он много раз и цирковые состязания с утра до вечера, с африкан­скими травлями и троянскими играми в промежутках; на самых пышных играх арену посыпали суриком и горной зе­ленью, а лошадями правили только сенаторы. Однажды он даже устроил игры внезапно и без подготовки, когда осматривал убранство цирка из Гелотова дома, и несколько человек с соседних балконов его попросили об этом.

Кроме того, он выдумал зрелище новое и неслыханное дотоле. Он перекинул мост через залив между Байями и Путеоланским молом, длиной почти в три тысячи шестьсот шагов: для этого он собрал отовсюду грузовые суда, выстроил их на якорях в два ряда, насыпал на них земляной вал и выровнял по образцу Аппиевой дороги.  По этому мосту он два дня подряд разъезжал взад и вперед: в первый день — на раз­убранном коне, в дубовом венке, с маленьким щитом, с мечом и в златотканом плаще; на следующий день — в одежде возницы, на колеснице, запряженной парой самых лучших скакунов, и перед ним ехал мальчик Дарий из парфянских заложников, а за ним отряд преторианцев и свита в повозках.  Я знаю, что, по мнению многих, Гай выдумал этот мост в подражание Ксерксу, который вызвал такой восторг, перегородив много более узкий Геллеспонт, а по мнению других — чтобы славой исполинского сооружения устрашить Германию и Британию, которым он грозил войной. Однако в детстве я слышал об ис­тинной причине этого предприятия от моего деда, который знал о ней от доверенных придворных: дело в том, что когда Тиберий тревожился о своем преемнике и склонялся уже в пользу родно­го внука, то астролог Фрасилл заявил ему, что Гай скорей на конях проскачет через Байский залив, чем будет императором.

До сих пор шла речь о правителе, далее придется го­ворить о чудовище.

Он присвоил множество прозвищ: его называли и “бла­гочестивым”, и “сыном лагеря”, и “отцом войска”, и “Цезарем благим и величайшим”. Услыхав однажды, как за обедом у него спорили о знатности цари, явившиеся в Рим поклониться ему, он воскликнул:

*...Единый да будет властитель, Царь да будет единый]*

Немного недоставало, чтобы он тут же принял диадему и видимость принципата обратил в царскую власть.  Однако его убедили, что он возвысился превыше и принцепсов и царей. Тогда он начал притязать уже на божеское величие. Он распорядился привезти из Греции изображения богов, прославленные и почитанием и искусством, в их числе даже Зевса Олимпийского,— чтобы снять с них головы и заменить своими. Палатинский дворец он продолжил до самого фору­ма, а храм Кастора и Поллукса превратил в его прихожую, и часто стоял там между статуями близнецов, принимая бо­жеские почести от посетителей; и некоторые величали его Юпи­тером Латинским.  Мало того, он посвятил своему божеству особый храм, назначил жрецов, установил изысканнейшие жертвы. В храме он поставил свое изваяние в полный рост и облачил его в собственные одежды. Должность главного жреца отправляли поочередно самые богатые граждане, сопер­ничая из-за нее и торгуясь. Жертвами были павлины, фламин­го, тетерева, цесарки, фазаны,— для каждого дня своя порода.  По ночам, когда сияла полная луна, он неустанно звал ее к себе в объятия и на ложе, а днем разговаривал наедине с Юпитером Капитолийским: иногда шепотом, то наклоняясь к его уху, то подставляя ему свое, а иногда громко и даже сердито. Так, однажды слышали его угрожающие слова:

*— Ты подними меня, или же я тебя...—*

а потом он рассказывал, что бог наконец его умилостивил и даже сам пригласил жить вместе с ним. После этого он пере­бросил мост с Капитолия на Палатин через храм божественного Августа, а затем, чтобы поселиться еще ближе, заложил себе новый дом на Капитолийском холме.

Свирепость своего нрава обнаружил он яснее всего вот какими поступками. Когда вздорожал скот, которым откармлива­ли диких зверей для зрелищ, он велел бросить им на растерзание преступников; и, обходя для этого тюрьмы, он не смотрел, кто в чем виноват, а прямо приказывал, стоя в дверях, забирать всех, “от лысого до лысого”.  От человека, который обещал биться гладиатором за его выздоровление, он потребовал исполнение обета, сам смотрел, как он сражался, и отпустил его лишь побе­дителем, да и то после долгих просьб. Того, кто поклялся отдать жизнь за него, но медлил, он отдал своим рабам — прогнать его по улицам в венках и жертвенных повязках, а потом во ис­полнение обета сбросить с раската.  Многих граждан из первых сословий он, заклеймив раскаленным железом, сослал на рудничные или дорожные работы, или бросил диким зверям, или самих, как зверей, посадил на четвереньки в клетках, или перепи­лил пополам пилой,— и не за тяжкие провинности, а часто лишь ‘за то, что они плохо отозвались о его зрелищах или никогда не клялись его гением.  Отцов он заставлял присутствовать при казни сыновей; за одним из них он послал носилки, когда тот попробовал уклониться по нездоровью; другого он тотчас по­сле зрелища казни пригласил к столу и всяческими любезностями принуждал шутить и веселиться. Надсмотрщика над гладиатор­скими битвами и травлями он велел несколько дней подряд бить цепями у себя на глазах и умертвил не раньше, чем почув­ствовал вонь гниющего мозга. Сочинителя ателлан за стишок с двусмысленной шуткой он сжег на костре посреди амфитеатра. Один римский всадник, брошенный диким зверям, не переставал кричать, что он невинен; он вернул его, отсек ему язык и снова прогнал на арену.

Налоги он собирал новые и небывалые — сначала через откупщиков, а затем, так как это было выгоднее, через прето­рианских центурионов и трибунов. Ни одна вещь, ни один человек не оставались без налога. За все съестное, что продавалось в .городе, взималась твердая пошлина; со всякого судебного дела заранее взыскивалась сороковая часть спорной суммы, а кто отступался или договаривался без суда, тех наказывали; носиль­щики платили восьмую часть дневного заработка; проститутки — сцену одного сношения; и к этой статье закона было прибавлено, что такому налогу подлежат и все, кто ранее занимался блудом или сводничеством, даже если они с тех пор вступили в законный ‘брак.

Росту он был высокого, цветом лица очень бледен, тело грузное, шея и ноги очень худые, глаза и виски впалые, лоб широкий и хмурый, волосы на голове — редкие, с плешью на темени, а по телу — густые. Поэтому считалось смертным пре­ступлением посмотреть на него сверху, когда он проходил мимо, или произнести ненароком слово “коза”. Лицо свое, уже от при­роды дурное и отталкивающее, он старался сделать еще свирепее, перед зеркалом наводя на него пугающее и устрашающее выра­жение.

Здоровьем он не отличался ни телесным, ни душевным. В детстве он страдал падучей; в юности хоть и был вынослив, но по временам от внезапной слабости почти не мог ни ходить, ни стоять, ни держаться, ни прийти в себя. А помраченность своего ума он чувствовал сам, и не раз помышлял удалиться от дел, чтобы очистить мозг. Думают, что его опоила Цезония зельем, которое должно было возбудить в нем любовь, но вызвало безу­мие. В особенности его мучила бессонница. По ночам он не спал больше чем три часа подряд, да и то неспокойно: странные видения тревожили его, однажды ему приснилось, будто с ним разговаривает какой-то морской призрак. Поэтому, не в силах лежать без сна, он большую часть ночи проводил то сидя на ложе, то блуждая по бесконечным переходам и вновь и вновь призывая желанный рассвет.